

1

Был солнечный день начала июня. Снег у поселка сошел, даже и подсохло кое-где, но в тайге по низинам еще по пояс можно было провалиться. Стаи гусей и уток вторую неделю тянули торопливо над Енисеем, в тундру, к недалеким отсюда берегам Ледовитого океана. Несли на крыльях не раннюю и не позднюю, обычную весну 1949 года. Больше двух тысяч верст летели птицы над могучей сибирской рекой, грязной и безлюдной, какой она и бывала каждую весну. Здесь же, у таежного станка Ермаково — пяток изб да два длинных барака на высоком берегу, — как нигде кипела жизнь.

Прямо к навалам льда были ошвартованы три баржи. Люди с грузом на плечах сновали по трапам, криво-косо проложенным среди ледяных торосов, катали бочки, паровые лебедки вытягивали из трюмов ящики и тюки. «Вира!», «Майна!» — то весело, то с жестким, подгоняющим матом разносились крики в весеннем воздухе. Солнце жарило, торосы текли, по голым мужицким спинам бежал рабочий пот.

Ермаковский берег насколько хватало глаз был завален тяжелым напором ледохода. Белые, зеленоватые, а больше грязные весенние льды громоздились неровной стеной, где высотой и с дом, опасно нависали над водой. Стайка ребятишек вместе с линялыми собаками скакали по снежным горам с криками и визгами.

Даже под ярким солнцем Енисей выглядел неуютно. Основная масса льда прошла, но вода продолжала подниматься, боковые речки, прорывая устьевые заторы, выбрасывали в Енисей новый, пестрый и опасный хаос льда. Временами на реке возникали целые поля

с торчащими на них зимними еще углами торосов и купами вмороженных кустов.

Одна такая льдина, тяжелая и прочная, заплескиваясь по краям грязной водой, уверенно надвигалась на песчаное охвостье острова. По ней среди торосов метался заяц. Люди побросали работу. Два орлана неловко с разверстыми объятями бегали по льду. Заяц не сдавался, забивался в торосы, его пытались достать, он выскакивал и нырял в новое укрытие. И заяц, и хищники были мокрые.

На мысу острова льдина приблизилась к берегу, замедлила ход и, разворачиваясь, стала вползать в тихую Ермаковскую протоку. Косой, прижав уши, стремительно полетел к спасительным кустам. Отчаянно, как из пушки метнулся через воду в сторону острова. Совсем чуть-чуть не долетел, плюхнулся с брызгами, и его тут же с головой засосало в водовороты течения. Орланы, чуть столкнувшись крыльями, тяжело вроде, но быстро взялись в воздух, и вот уже один, вытянув лапы, поднял над водой бьющийся серый комок. Зайчишка в когтях оказался маленьким, он отчаянно брыкался длинными ногами и даже кричал, как показалось многим, но вскоре затих и повис мокрой тряпкой.

Женщины замерли, глядя вслед удаляющимся хищникам. Сержанты и стрелки охраны, раздетые по пояс, белотелые, в фуражках с красными околышами и звездами, реагировали гордо, будто они и поймали.

— Добегался!

— Ха-га! Собачку бы туда добрую! Она бы его враз!

Группа заключенных крошила ледовые навалы под причал. Тоже бросили работать:

— Один, что ли, зашамает целого зайца? — бритый налысо парнишка смотрел не отрываясь.

— А то тебе принесет!

— Кончай дымить, курвы! — раздался окрик бригадира. — Зайца не видали?!

Глинистый ермаковский берег, если смотреть на него с реки, не обрывисто, но круто поднимается от воды. Как и везде на Енисее, он голый, ободранный ледоходами, трава да камни. Леса нигде не увидишь у воды. Станок Ермаково стоит в удобном понижении таежных холмов на небольшой речке Ермачихе, впадающей в глубокую и судоходную Ермаковскую протоку.

Первые баржи из Туруханска пришли накануне вечером. Их сейчас и разгружали — палатки, железные печки, мотки колючей проволоки, продукты в ящиках и мешках, строительный брус, фанера, доски. На воскресник вывели всех, со дня на день ждали больших

караванов из Красноярска. Разгружать их было некуда—ни причалов, ни складов, непроходимая тайга стояла по берегам.

Молодой стрелок охраны спускался по трапу с тяжелым мешком на плече. Симпатичный, с бритым затылком и длинным светлым чубом, он познакомился вчера в столовой с веселой подавальщицей—звать Нюра, вольнонаемная, родом из Туруханска. Он нес мешок и представлял, как летом поедут с Нюрой купаться на лодочке, на песчаный островок с кустиками. Аж ноги подгибались от этих мыслей. Стрелок служил по срочной уже два года, всё на отдаленных лагерных пунктах, и кроме мужиков-зэков да начальства никого не видел. Он прямо не верил, что перевели сюда. С Нюрой, правда, все вчера шутили, и офицеры тоже, но он все же надеялся, видел, что понравился девушке. Он сбросил в штабель мешок с закаменевшим цементом и посмотрел в сторону столовой с его Нюрой, его толкнули другим мешком, летевшим с чьего-то плеча, и он с веселым нервным трепетом во всем теле побежал по качающемуся трапу на баржу.

На воскреснике работали и жители станка, им за этот день было обещано по полкило хлеба и по банке мясных консервов. Замначальника Стройки-503 невысокий и худощавый капитан МВД Яков Семенович Клигман, редко носивший форму, ходил, затянутый в ремни. Временами он брался вместе со всеми за тяжелый негабарит и нес под крики бригадира. Потом стоял, вытирал платком лоб под фуражкой и озабоченно осматривал дикий таежный берег, который предстояло освоить.

На берегу Енисея разворачивался «Енисейжелдорлаг». Это было недавно созданное структурное подразделение МВД, состоящее из Енисейского исправительно-трудового лагеря и секретного Строительства-503.

Капитан Клигман, как и большинство офицеров Строительства, одновременно служил в двух должностях—был заместителем начальника лагеря и руководил Управлением снабжения стройки. Он, как никто другой, знал, сколько сейчас в пути пароходов и барж с материалами, техникой и живым спецконтингентом, и совершенно не представлял, куда все это добро разгружать. И он—понятное дело, коммунист и безбожник—малодушно просил кого-то там, на самом-самом верху, чтобы хоть на день-два отсрочили прибытие грузов.

Главная контора Строительства-503 располагалась сотней километров ниже по Енисею, в Игарке. Называлась она Северное управление ГУЛЖДС¹ МВД СССР. Там тоже разворачивались большие работы:

¹ ГУЛЖДС—Главное управление лагерного железнодорожного строительства.

обустроивались дороги, причалы и склады, спешно ставилось жилье для офицеров и вольных специалистов, возводилось большое здание Управления, а Игарский пересыльный лагерь расширялся в соответствии с грядущими масштабами, и теперь в него могли вместиться семь тысяч строителей.

В конце мая, пока Енисей еще стоял, все ермаковское начальство улетело на совещание в Игарку, вернуться быстро у них не получилось, Енисей пошел и забрал с собой ледовый аэродром. Капитан Клигман остался в Ермаково за старшего с лейтенантом-особистом и двумя десятками стрелков охраны.

Самая мощная река России течет с юга на север, поэтому весной здесь всегда непросто. В Красноярске весна начинается в апреле, а внизу, в Дудинке, только через два месяца, и все это время большая вода ведет себя, как вздумает. Первыми начинают таять саянские верховья и притоки, Енисей просыпается, взламывает лед и, устремившись вниз, сталкивается с самим собой же, вполне еще зимним, скованным метровым льдом. Все встает на дыбы, торосы запирают реку от берега до берега, а где-то и до дна, вода поднимается на десять, пятнадцать, иногда и двадцать метров. Миллионы тонн льда сдирают с берегов растительность и забирают с собой все, что неосторожно оставил человек. Работать в это время ни на воде, ни на берегах невозможно.

Так было теперь и в Ермаково, но здесь работали.

Стук топоров, молотков, крики и смех, лай вольных деревенских собак и казенных овчарок разносились над рекой. Громко трещал небольшой локомотив, вытаскивая по временному настилу самые тяжелые ящики. Ермаковский спуск к Енисею размесили так, что не пройти уже было. Клигман поставил четырех заключенных-плотников делать лестницу, те целый час ходили, перекладывали бревна из грязи в грязь, спорили да махали друг на друга черными по локоть руками, и он снова вернул их на валку леса.

Солнце то скрывалось, то вновь слепило в прорехи бегущих облаков. Трудяга Енисей, тяжелый и грязный, не взглядывая по сторонам, как вечный каторжник буровил мимо. Торосы подмывались, обваливались в мутную серую воду, всплывали тяжело и, медленно набирая скорость, устремлялись на север.

Над далеким поворотом показались клубы черного дыма, кто-то увидел, и вот все уже, прикрываясь от солнца, стали радостно всматриваться. Шел буксир с ниткой барж — первый караван после семи месяцев зимы. Архитектор Николай Мишарин, худощавый парень с модной столичной прической, вскарабкался на высокий штабель из досок:

— Три... нет... четыре баржи, Яков Семенович! — докладывал стоящему внизу Клигману.

Клигман близоруко шурился из-под руки на холодную, отблескивающую даль Енисея.

— Пять барж уже, я хорошо вижу!

Николай Мишарин прибыл в Ермаково проектировать строящийся поселок. Он прилетел две недели назад, и все это время ходил счастливый. Всем улыбался приветливо и пытался помочь, потому что самому ему делать пока было нечего — не было ни проектировщиков из его группы, ни даже простенького кульмана для работы. Прошлой весной он с отличием окончил МАРХИ¹, кафедру градостроительства, сам попросился по распределению на далекую сибирскую стройку и так оказался на этих пустынных берегах, на секретном объекте «Енисейжелдорлага». В Москве это называлось Ударной комсомольской стройкой на Енисее.

Он стоял на покачивающихся досках над великой сибирской рекой, залитой солнцем, и чувствовал себя самым счастливым человеком. «С такого маленького пятачка, отвоеванного у тайги, начинаются великие дела, — мысленно писал он в своем дневнике. — Не пройдет и пяти лет, здесь встанет город с современными домами и проспектами к Енисею. Изогнутый, освещенный электричеством пятикилометровый мост перекинется на восточный берег, поезда с табличками „Москва — Игарка“, „Ленинград — Игарка“, „Сочи — Норильск“ понесутся таким же вот солнечным весенним утром. И все это начинается сейчас! Надо как следует запомнить этот нетронутый берег с вековыми кедрами и соснами, этих сильных людей, начинающих великое дело. Лет через двадцать-тридцать, а может и раньше, весь енисейский край снегов и тайги преобразится неузнаваемо...»

— Эй-й-й, рахитектыр! Твою мать! — услышал вдруг Мишарин. — Вали отсюда на хер! — орала с баржи мужики-грузчики.

Лебедка с нервными скрипами поднимала из трюма длинную, опасно гнущуюся пачку досок. Мишарин мешал. Он дружески улыбнулся грузчикам и стал спускаться вниз. Надо вечером обязательно записать, приказывал себе Николай. Он все время забывал это делать.

Приблизившись, пароход загудел раскатисто, сообщая о прибытии краевой цивилизации в таежную глухомань. Баржи тянул небольшой буксир «Полярный», командовал им Александр Белов — самый молодой капитан пароходства. Из Красноярска вышли длинным караваном. Пять пароходов тянули друг за другом два десятка барж, двигались

¹ МАРХИ — Московский архитектурный институт.

небыстро, за отступающими на север льдами, отстаивались, прятались от нагонявших караван опасных выбросов льда и снова двигались. Больше трех недель продолжалась ответственная, нервная, но и веселая работа. Белов вышел с двумя баржами, теперь же тянул шесть — взял караван поломавшейся «Якутии». Молодому капитану очень хотелось отличиться, и сегодня утром в густом тумане он ушел раньше других. И вот явился первым.

Буксир подошел, на виду у публики сделал оборот¹ и, встав против течения, уперся тяжело, несоразмерно силам. Красил облака хвостом черного дыма. Баржи, заканчивая маневр, вытягивались за его кормой.

«Полярный» был трехсотсильным буксиром голландской постройки. Двадцать четыре метра в длину и шесть в ширину, с радиомачтой и высокой, почти метрового диаметра трубой посередине. Только с капремонта, корпус выкрашен черной блестящей краской, надстройки бежеватые, буксир выглядел как с иголки. Капитану по-товарищески завидовали, поминали прямо отцовское к нему отношение начальника пароходства.

Уводя баржи с течения, «Полярный» рискованно приваливал их вплотную к берегу, временами караван замирал, и казалось, что пароходнику со всем его разнокалиберным хозяйством, длинно прицепившимся за кормой, никак не осилить весенней мощи реки. Дурная мутная вода временами так наваливала на нос, что буксирный трос провисал сзади до воды, но «Полярный», добавляя копоты из трубы, снова подавался вперед, в тишь Ермаковской протоки. Высокий капитан в белом летнем кителе и черных брюках на виду у всего берега уверенно руководил командой. Последняя баржа каравана зашла со стремнины в протоку, буксир протянул еще, увел всех под остров, и вскоре на баржах полетели в воду якоря.

Путь в тысячу семьсот километров был позади.

«Полярный» сплывал задним ходом, а вся команда, скинув телогрейки, лихо авралила — выбирала двухсотметровый буксирный трос, боцман едва успевал укладывать бухту на корме. На баржах натягивались — набивались, как говорят флотские — якорные цепи, кто-то увидел знакомых на стоявшем под островом пароходе, улыбались устало, закуривали.

Буксир, расталкивая торосы, ткнулся в берег. Белов вышел из рубки, на белом кителе — погоны флотского лейтенанта и рубиновый

¹ Чалятся всегда против течения, поэтому, когда идут по течению, разворачивают судно — «делают оборот».

орден Красной Звезды. Капитан Клигман стоял на разгружающейся барже.

— Здравия желаю, товарищ капитан, — небрежно козырнул Белов, с видом артиста, только что отыгравшего бенефис. Его щеки горели, как у девицы, а глаза искали знакомых на берегу.

— Лагконтигент на разгрузку поставьте... — то ли приказал, то ли предложил Клигман и посмотрел на Белова так, будто спрашивал: ну что вы, сами не понимаете? Яков Семеныч, всю жизнь служивший по снабжению, не умел приказывать, это было написано у него на лбу.

— Сначала обед, товарищ капитан! С ночи команда не ела! — нагло и весело настаивал флотский. — Куда они из трюмов денутся!

— Э-эх, молодой человек... Ну что такое?! — повернулся Клигман к лейтенанту-особисту.

— Эков на дальний причал, зэчек — сюда! Без разговоров! — приказал Белову особист.

Буксир сдал назад и, поднимая за кормой недовольный бурун, стал разворачиваться. Обильная черная копоть валила из трубы. Барж с заключенными было две. Обе деревянные, с плоскими палубами, на которых лежали грузы — никогда и не скажешь, что в их трюмах могли быть люди. Одна побольше, посередине — рубленая изба шкипера, из ее трубы шуровал дым, а на весь берег пахло щами. Охрана столпилась у лавочки, кто-то что-то веселое рассказывал — хохот разносился по воде. В этой барже в трюмах с трехъярусными нарами ожидали разгрузки восемьсот девяносто пять заключенных мужчин.

Палуба соседней баржонки была загружена новенькими мотками колючей проволоки. В ее трюме сидели пятьсот девяносто женщин.

Маленькую баржу подвели первой. Занесли концы на берег. Старшина — начальник прибывшего конвоя, порядившись с лейтенантом-особистом, где будут сдавать этап, на судне или на берегу, расставлял охрану. Двое бойцов сняли засовы с носового люка, откинули широкие дверцы и металлические решетки, и из трюма вырвалось утробное гудение человеческих голосов и показались женские головы.

— Бабы, шухер! Тут ни хера не Сочи! — придуриваясь, визгливо заблажила первая же, с красивым платком на плечах и цветастым узлом в руках. Она и одета была нарядно, если бы не дорожная помятость, хоть в ресторан. Губы ярко накрашены, глаза подведены.

— Лезь давай, шалава драная! — раздавалось беззлобно из глубины трюма. — Дай людям воздушку нюхнуть вольного!

Женщины, поругиваясь и пихая друг друга, выбирались наверх, шурились от яркого света. Первыми выходили воровки, одетые кто в зимнее, кто в летнее, вполне круглые лицами. С узлами

и чемоданами. Матерились, дымили куревом, заигрывали со стройным капитаном в белом кителе. Одна даже юбку задрала до трусов.

—Пятерками разобрались! Вперед! Не задерживай!—стрелки не церемонились, подпихивали куда придется, в спины, под задницы... Воровки повизгивали, подбирали юбки, валили нестройно, как на базаре. Под ногами чавкала грязь.

Уголовных было человек сорок-пятьдесят. Потом пошла 58-я¹, курдючные и стриженные налысо враги народа, жены врагов, сестры, матери и дочери врагов, худые и бледные, молодые и старые контрреволюционерки, в основном одетые в лагерные фуфайки и бушлаты. На ногах у многих были мужские ботинки 45-го размера, и женщины шли, как клоуны в цирке. Большинство безлики и не очень похожи на женщин, но некоторые красивы. Среди этих мало кто улыбался. Оглядывались тревожно, а увидев красавца-капитана, отворачивались. Много было совсем молоденьких, старшекласницы по виду.

Пестрый этап двигался небыстро, изгибался вверх по склону, чавкал и оскальзывался в грязь. Когда все вышли, в трюме возникла заминка, заключенная в серой робе, выглянув из люка, звала охрану. Начальник конвоя, натерпевшийся от баб за три недели пути, пошел было по трапу, но остановился и повернулся к этапу:

—Садись!—раздался молодой, не по возрасту властный голос.

—Садись! Садись!—понеслось вверх по склону.—На землю! На землю, сучки!

—Сами садись! Садисты! Идите на хрен! Не имеешь права, писюльку те в пасть! Ха-ха-ха! Не май месяц!—визжали-роптали воровки.

Политические безропотно опускались в строю, кто на корточки, чтоб уж не в грязь, кто на подвернутую ногу в ватных штанах. Многие улыбались хорошей погоде и на вольную картину большой реки. После трех недель в трюме. Платки перевязывали на головах, охранивались.

Два стрелка за руки за ноги вынесли из баржи худую и длинную пожилую лагерницу. Сзади поднималась молоденькая стриженная девушка, пыталась поддерживать седую голову, но не успевала, голова все время падала и становилось видно костлявое лицо и широко раскрытый синегубый рот.

—Готовая, что ль?—недовольно спросил старшина.

¹ «Пятьдесят восьмая»—политическая (преступления против государства) статья Уголовного кодекса РСФСР в редакциях 1922 и 1926 годов. Отменена в 1961 году. Так называли политических заключенных.

— Не знаю, врача надо... — девушка приложила ухо к груди старухи.

— Какого врача?! — зло гаркнул старшина. — Клади ее в сторону! Сама встала в строй!

Полукилометром выше по течению обносили колючкой рабочую зону. Люди в черных и серых спецовках пилили деревья, обрубали и жгли сучья в огромных кострах, искры, пепел летели высоко, под крики «Па-аберегись!» с тяжелым вздохом валились столетние деревья, топоры звенели, шинькали пилы-двуручки. Зоной выгораживался прямоугольник в триста метров вдоль воды и столько же вглубь тайги. Деревья были в основном повалены и густо лежали в разных направлениях: казалось, что здесь нарочно нагородили весь этот хаос, чтобы невозможно было пройти. Желтели свежие спилы, несколько мужиков таскали обрубленные ветви к реке, бросали в воду и на торопы, отчего ощущение бардака и бессмысленности только усиливалось.

Колючую проволоку тянули для виду, в три нитки, прибывая прямо к деревьям с отпиленными верхами, выходило неровно. Зону городили для ОЛП¹ погрузо-разгрузочных работ, сразу за ним планировали ставить главные складские бараки для будущего строительства. Пока же за эту колючку можно было принять прибывающий лагконтингент. Начальство торопилось, огораживали на тысячу заключенных, понимая, что и четырех- и пяти тысячный этап легко уйдет в это пространство.

Все было временное, делалось наспех и малыми силами, все предстояло еще выкорчевать и расчистить, перетянуть колючку в соответствии с подробными инструкциями, поставить вышки, а над вахтой написать нетленную сталинскую мудрость, украшающую ворота всех лагерей от Днепра до Амура: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!»

Так начиналась Великая Сталинская Магистраль.

Полторы тысячи километров железной дороги предстояло проложить по Полярному кругу, соединяя Северный Урал с низовьями Енисея.

Все ресурсы, вся тьма стройматериалов, техники, продуктов, еды, людей, конвоя для людей и надзирателей над людьми были расписаны народно-хозяйственными планами по годам, выделены и двигались, стекались со всей страны к месту назначения.

¹ ОЛП — отдельный лагерный пункт.

Станка Ермаково как раньше не было на картах, так и теперь нет, но найти просто—Енисей в этом месте делает самую большую излучину на всем своем пути. Между Туруханском и Игаркой надо смотреть, на пересечении с Полярным кругом. Именно сюда должна была выйти железная дорога с Приполярного Урала. В вершине этой петли на высоком левом берегу и решили ставить поселок—управление Спецстроительства-503.

Впервые станок Ермаково упоминается в исторических документах, датированных 1726 годом. Место описывалось как рыбное, промысловое, с почтовой станцией. Было в нем на тот момент несколько изб, в которых жили три семьи.

Примерно таким станок и оставался. В революционные времена отличился тем, что один ушлый местный национал, представляясь уполномоченным советской власти и показывая неграмотным соплеменникам случайно найденную бумажку с печатью, несколько лет обирал по окрестностям сородичей. И больше ничего особенно. Рыбы не убывало, зверя тоже.

Первые серьезные изменения произошли во время войны. Шестого января 1942 года в далекой Москве вышло постановление Совета народных комиссаров и Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке». Реализуя высокое решение, в поселок, состоявший из семи строений, считая худые сараи, завезли больше трехсот человек. Большинство прибывших были российские немцы, в 1941 году уже сосланные в Сибирь из Поволжья и теперь сосланные еще раз из Сибири на крайний ее север¹.

Постановление выполнялось силами НКВД, прав у людей никаких не было, кроме транспортных затрат они ничего не стоили, поэтому везли с избытком, учитывая естественную убыль. Так в 1942 году население Ермаково увеличилось сразу в десять раз. Крепких мужчин было двенадцать, остальные—женщины, дети, старики и подростки.

Современный историк, читая тот далекий указ, может поразиться его гуманности—время военное, трудное, а Москва требует от местных властей, чтобы те издали свои постановления, в которых закрепили бы для переселенцев сенокосы, уголья под пашню и выпас для скота. И местные писали постановления и закрепляли... Но вокруг

¹ Все это было предусмотрено Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б). Только в северные районы Красноярского края «для использования на рыбных промыслах» привезли 23 000 немцев.

Ермаково стояла глухая тайга. Ни пашни, ни скота здесь никогда не водилось. Важнее было жилье, но его тоже не было.

Первую зиму люди прожили в землянках, которые вырыли сами. Только через год, к январю 1943-го, был закончен барак на двенадцать комнат, в которые вселились сто пятьдесят человек по три-четыре семьи в комнату. В следующем, 1944 году построили еще один барак.

Для добычи рыбы государству была образована артель «Рыбак». В трех ее бригадах состояли пятьдесят человек, еще тридцать работали в администрации, обслуге и бригаде строителей. Остальным, почти полутора сотням работоспособных, работы не было.

К концу войны стало ясно, что все это больше погубило народу, чем принесло пользы — большинство созданных артелей и колхозов задолжали государству астрономические суммы, и о постановлении забыли. Ссылным разрешили переехать в Игарку и Дудинку, где можно было поискать работу. В поселке осталось человек пятьдесят, если считать стариков и ребятишек.

В 1949 году началась новая история станка Ермаково. В первых числах марта на нескольких санях и пешком появилась в заваленном снегом дремотном поселке небольшая бригада лагерников с охраной. Поселились в пустующем бараке, подремонтировались, наладили кухню. По утрам строем и под конвоем стрелков заключенные ходили на Енисей, долбили там целый день, очищая от торосов лед реки и песчаный остров, — готовили взлетно-посадочную полосу.

В конце марта на подготовленный аэродром стали прибывать начальство и ценные грузы. Из Игарки по Енисею на лошадях, машинах и пешком потянулись заключенные-специалисты: геодезисты, плотники, повара, обслуга. Хорошего, налаженного зимника пока не было, его заносило, машины застревали, ломались от мороза, поэтому дорога в сто километров выходила небыстрой и опасной.

До прихода первых барж больших работ в Ермаково не было. Плотники срубили для начальства добрую баньку на ручье, беседку к ней с видом на Енисей да несколько сараев под небольшие склады.

3

З/к¹ Горчаков Георгий Николаевич неторопливо обрубал сучки со сваленных сосен, относил в кучи, перекуривал неспешно, разглядывал

¹ З/к — заключенный. В официальном документообороте использовалось как несклоняемое существительное, произносилось как «зэка», с ударением на последний слог. В бытовой речи ударялось на первый слог и склонялось: зэк, зэка, зэку.

издали суету под ермаковским взвозом. Там грохотала техника, шумели люди, здесь же, на дальнем конце будущей зоны, кроме санитары Шуры Белозерцева никого не было. Временами ветер доносил сильный запах пароходного дыма. Горчаков поднимал голову и его ноздри сами собой, по наивности человеческой, тянули знакомые тревожащие душу запахи.

Лагерному фельдшеру Георгию Николаевичу Горчакову было сорок семь, выглядел он старше, может и на шестьдесят, но не стариком, глаза были нестарые. Выше среднего роста, крепкий в плечах, чуть сутулый. Лицо Горчакова всегда бывало спокойно, его можно было бы назвать и волевым, но выражало оно совсем немного. За долгие годы бездумного подчинения его лицо научилось не участвовать в происходящем. Это была довольно обычная физиономия старого лагерника: глубокие морщины поперек лба, разношенные ветрами и морозами слезящиеся глаза, дважды сломанный нос — в январе тридцать седьмого на следствии в Смоленской тюрьме и потом урки на Владивостокской пересылке — оба раза срослось криво, с уродливой щербиной. Были и другие отметины.

Горчаков сел на прохладный сосновый ствол среди необрубленных еще толстых суков. Тщательно протер круглые очки и, закурив, замер, глядя на могучую реку. Он не любил Енисей. Когда-то в молодости он сравнил его с бородатым мужиком с топором, бредущим мимо по своим делам. Енисей был безразличен к человеку. Он совсем не был красив, как не может быть красивым угрюмый и опасный мужик. Просто иногда он бывал спокойным.

Первый раз Георгий Николаевич попал в эти края в середине двадцатых, начинающим геологом, тогда все было иначе... Было много солнца, много сил, счастливого упрямства, удачи и наивной веры, что все можно обуздать, даже и мужика с топором. Многое тогда удалось... Даже потом, когда в тридцать восьмом начальник «Норильскстроя» Перегудов вытащил заключенного Горчакова с Колымы, это были три отличных полевых сезона — тридцать восьмой, тридцать девятый и сороковой. Потом снова были лагеря «Дальстроя», потом Салехард, и вот судьба опять привела его на Енисей. Два последних года кантовался доктор геолого-минералогических наук, лауреат премии ВСНХ, з/к с учетным номером 2338 Горчаков Георгий Николаевич фельдшером по здешним зонам.

Лишь в пору тяжелых осенних штормов, когда наружу был весь его варначий нрав, Енисей был ничего себе. Горчаков мог часами на него смотреть. Осенью все было так же безжалостно, но честно. Во всякое же другое время «батушка-Енисей» был угрюмым безответным

зычарой, которому нельзя было доверять, нельзя было лезть к нему со своими мыслями и чувствами. Даже колымские ручьи и речки помнились Горчакову как понимающие тебя, а иногда и расположенные к тебе. Енисей не знал никаких таких чувств к человеку.

Подошел Шура, хотел что-то сказать, но, глянув на застывшего вдале начальника, молча присел на тот же ствол. Рукавицы-верхонки подложил под себя. Белозерцев был идеальным санитаром—не боялся ни крови, ни грязной работы, ни блатных. У Горчакова, как у всех старых лагерников, ни с кем не заводилось близких отношений, Шуре же он доверял, они вместе ели, иногда разговаривали.

— Полная безнадега, чего и говорить! — продолжил Шура ранее начатую мысль. — Сколько раз представлял, как уйду от реки... — он повернулся и строго посмотрел на Горчакова. — Вроде и Россия кругом, а никогда до людей не добраться! Очень неприятно, Георгий Николаич, на тот свет, получается, уходишь!

Горчаков кивнул, соглашаясь, сам рассматривал изуродованный берег реки. Еще три дня назад тут было тихо, как у Христа за пазухой. Нетронутая полусонная тайга и мутная весенняя река с белыми торосами по берегу. Птички пели... Но за два последних дня пришло много барж, заключенных сильно прибавилось и тайги навалили изрядно. Километра на три вдоль берега все уже лежало, словно скошенное, деревья распиливали, растаскивали, жгли в кострах и сбрасывали в реку, освобождая место под площадки. Десятки барж стояли под разгрузкой, росли горы стройматериалов... и всюду, как в гигантском муравейнике, сновали и сновали люди. Издали не разобрать было, кто из них в серых казенных робах, а кто в полевой форме с портупеей и кобурой на поясе.

— Лепила¹! — к ним через завалы пробирался помбригадира Козырьков. — Заманался тебя искать! Там особист врача требует!

Горчаков очнулся от мыслей, посмотрел на топор, торчащий рядом в дереве.

— Я заберу, — понял его Шура.

Горчаков надел верхонки и стал спускаться к реке. Помбригадира шел сзади, вытирая пот со лба. Козырьков хоть и пытался разговаривать, как блатной, но блатным не был. Крестьянин Тульской губернии, он сидел четвертый год за два мешка картошки, которые кто-то спрятал у него в омшанике. Он был страшно удручен такой несправедливостью и подробно рассказывал, как те мешки стояли почти на виду и как бы он их занькал, если бы на самом деле хотел

¹ Лепила — доктор, врач, фельдшер (лагерный жаргон).

спрятать. Больше всего его расстраивало, что мешки достались тому, кто стукнул. В помбригадыры он попал случайно и очень дорожил местом. Это была самая высокая должность за всю его жизнь. Покрикивать даже научился.

Впереди из баржи выгружали большой женский этап. Основная его часть неровной колонной медленно поднималась по склону, у баржи выстраивали последние пятерки, считали. По мере приближения к женщинам Козырек оживлялся, щупал реденькие усы, расстегивал черную казенную спецовку и поглаживал откуда-то взявшуюся у него дырявую тельняшку. Улыбался глуповато и заговорщицки поглядывал на Горчакова.

Две женщины неподвижно лежали на солнце, прикрытые мешковиной. Босые ступни одной бросались в глаза — это была девочка-подросток. Рядом с ними на бушлате разметалась тяжело опухшая женщина. Серое изношенное платье разлезлось на необъятном животе. Дышала с задержками и хрипом, глаза совсем заплыли. Старшина, начальник конвойной команды что-то зло выговаривал пожилому сержанту с автоматом на плече. Тот курил вонючий самосад, вежливо пуская дым из седых усов мимо командира. На корточках возле больной сидела заключенная, грела в ладонях кружку с водой, густые темные волосы выбились из-под платка.

— Коля, найди пару досок на носилки, — попросил Горчаков помбригадыра и присел к старухе. Взял руку, нащупывая пульс.

— Водянка, — негромко подсказала женщина с кружкой. У нее были тонкие пальцы, тонкие черты лица и большие черные глаза. — Пульс плохой...

— Вы врач? — Горчаков был спокоен, будто в руках у него не было руки умирающей.

— Да. Педиатр.

— Прокол сделать можете?

— Никогда не делала.

— Умрет, если не проколоть.

— Попробую...

— Дайте мне эту женщину в помощники, — повернулся Горчаков к начальнику конвоя.

Старшина ничего не ответил, зыркнул красными от недосыпа глазами и пошел было к дальней барже, где уже началась выгрузка мужчин. Но вдруг вернулся и решительно встал над Горчаковым, продолжавшим сидеть на корточках.

— Встал! — рявкнул, глядя с ненавистью сверху вниз.

Горчаков отпустил руку старухи, поднялся и отступил на два шага.

— Слушаю! — старшина был на полголовы ниже и в два раза моложе, он еле сдерживался, чтобы не ударить в морду лагерного лепилу.

— Ээка Горчаков, статья 58.10. Двадцать пять лет... Фельдшер медпункта, гражданин начальник, — доложил Горчаков по форме.

В его позе, лице, голосе не было ничего. Никакого внутреннего движения, ни эмоций. Он говорил эту фразу тысячи раз, он начал произносить ее еще тогда, когда старшина, высунув кончик языка, учился выводить буквы в тетрадке в косую линейку.

— Совсем страх потеряли, фашисты недобитые... — прошипел старшина и, зло глянув на седоусого сержанта, спокойно стоявшего рядом, пошел к дальней барже.

— Что, заберешь что ли?! А то околеет... — сержант добродушно обратился к Горчакову. Он пытался раскурить самокрутку, но она опять погасла. — Покойников-то куда у вас тут? Самойлов! — крикнул негромко в сторону баржи.

— Я, товарищ сержант! — по палубе бежал боец, шаги гулко отдавались в пустоту трюма.

— Возьми дневальных, пусть закопают... маленькая воняет уже... — сержант посмотрел на бездыханную самокрутку, попробовал еще из нее потянуть и бросил на землю.

Из дальней баржи через грязный торос переваливала темная масса мужчин с узлами и чемоданами. Выгружали в недостроенную зону. Местной охраны не было, передать было некому, и вместо отдыха уставшему за долгую дорогу конвою надо было выставлять охрану на берегу. Старшина был злой, он точно знал, что кого-то недосчитаются в этой неразберихе. Холеный лейтенант-особист с полувзводом бойцов занимался приемкой женского этапа. Это старшину злило больше всего.

— Семенов, — заорал старшина, подходя к разгрузке, — всех собак на берег! Живо!

— Они там ноги переломают, товарищ старшина! Казбек уже хромает!

— Я что, сука, сказал! Выполнять! Казбек херов!

Горчаков с Шурой поднимались наверх к медпункту. С конца марта, когда они с одной из первых групп прибыли в станок Ермаково, ни большого начальства здесь не было, ни работяг толком и жизнь была неплохой. Начальство сидело в жарко натопленном бараке, иногда ездили в санях ловить корюшку, иногда, когда из-за пурги долго не было бортов, приходили к Горчакову одолжиться спиртом.

Блатарей не было совсем, и жили спокойно, о лагере напоминали только утренние и вечерние поверки да дневальный с его «Подъем! Подъем, ребята!», потом Горчаков с Шурой на целый день уходили в медпункт — он был не в зоне.

Начальником третьего отдела¹ был лейтенант Иванов. Среднего роста, крепкий и подтянутый, он был образцом для всего небольшого лагеря — водки не пил, на веселые пьяные рыбалки не ездил, каждое утро обливался ледяной водой у ручья, а еще бегал на лыжах и занимался на турнике или, раздевшись до пояса, колот на морозе дрова.

Еще он был начитанным и любил пофилософствовать на отвлеченные темы.

Жили сыто, повар был знакомый, иногда местные приходили в медпункт или приводили ребятишек, за что приносили соленой осетрины или лосятины. Горчаков не толстел, а Белозерцев даже округлился, отчего испытывал притворное неудобство, разглядывая себя в зеркало.

Теперь все менялось, Шура сокрушенно об этом заговаривал. Горчаков же был спокоен — за тринадцать последних лет как только ни менялась его жизнь. Она текла не в человечьем, но в каком-то другом измерении, часто таком тесном, что в нем с трудом помещалась миска баланды с селедочной головкой.

4

Четверо флотских выпивали на утреннем солнышке. На самом верху, чуть в стороне от ермаковского взвоза стоял древний, вкопанный в землю стол с двумя лавками. На столе толстый шмат сала, соленая стерлядка и текущая жиром нельма на газетке, кусок отварного мяса, свежий хлеб. По граням стаканов скакали весенние солнечные зайчики. Одна пустая поллитровка из-под спирта уже валялась под столом. Капитан Белов в тельняшке, без кителя поднимался от ручья с трехлитровой банкой в руке. В ней молочно мутнел только что разведенный спирт.

¹ Третий оперативный (особый) отдел следил за политической благонадежностью и моральным состоянием заключенных, вольнонаемных и частей охраны. Выявлял госпреступления (измена, шпионаж, диверсия, терроризм), контрреволюционные организации и лиц, ведущих антисоветскую агитацию. Начальник 3-го отдела (по-лагерному — «кум») подчинялся не начальнику лагеря, но напрямую 3-му отделу ГУЛАГа (Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР).

Теплую компанию составили заслуженный шкипер парового лихтера Иван Трофимыч Подласов, не менее заслуженный капитан «Клименты Ворошилова» Тимофей Кондратьевич Семенчук, главный механик «Ворошилова» — белоголовый и средних лет Петр Сергеевич Сазонов. Строгие темно-синие офицерские кители со стоячими, подшитыми белыми воротничками, черные брюки, сапоги — форма речников в те времена не отличалась от военно-морской. Все наглаженные, начищенные. Только старый шкипер, мерзнувший в силу возраста, был в новой черной телогрейке, надетой на тельняшку.

Выпивали не торопясь, шурились на родные енисейские просторы, первый трудный рейс вслед за льдами был окончен, Енисей очищался на глазах, начиналась навигация, непростая речная работа, где нет ни дня, ни ночи, где иной раз и месяц, и полтора нет возможности расслабиться, выпить вот так спокойно с товарищами. Поделиться новостями: кто куда ходил, как с планом, кто где проштрафился и как дело обошлось.

Старики сидели за столом, Белов стоял возбужденный. Он поднялся с тостом, его о чем-то спросили, и он уже десять минут рассказывал, как повел свой караван.

— Подкаменную прошли, — глаза у Белова горели интересом и гордостью, но и уважением — заслуженным людям рассказывал, — встали на ночь, а в первом часу ветер поменялся, и как поперло... прямо горы льда тащит, и все нашим берегом. Якоря срывает, я одну баржу поймаю, другую потянуло. Как переловили — не знаю, вывел всех под левый берег, отстоялись...

— А «Якутию» что? — спросил механик Сазонов.

— Льдами на камни выдавило... Я баржи с эсками еле вытащил из торосов... Ветер льдами давит, баржи скрипят, кренятся, охрана перепугалась, орут, чтобы их сняли, собака за борт упала...

Белов нетрезво поблескивал красивыми темно-карими глазами. Он был умный, чистый душой, по возрасту вежливый и даже застенчивый, но и рабочего упрямства в нем хватало. Его еще четырнадцатилетним матросом звали Сан Саныч. За худобу и высокий рост, но, видимо, и за расторопность не по годам.

— Ну-ну, бывает... — Семенчук с хрустом разрезал луковицу и поднял стакан. — Ну, давайте!

Выпили. Закусывали. Солнышко пекло, птички наперебой распевали по кустам, от реки доносился шум большой разгрузки.

— В этом году еле успел огород вспахать... — капитан Семенчук, даже когда шутил, говорил с самым серьезным видом. — В прошлом году не успел, жена лопатой копала.

—Что же, не могла соседа попросить? Там у тебя Геннадий Степаныч рядом...

—Сосед—дело опасное, сначала огород, потом еще чего, а потом и тебя не надо!—весело зыркнул из-под лохматых бровей старик-шкипер.

—Не-е, моя железобетонная... это я только скотина,—нахмурил все тем же серьезным глазом Семенчук.

Мужики довольные рассмеялись.

—Как там Смирнов, не женился?

—Женился.

—На поварихе?

—На ней!

—Раньше правило было,—вставил неторопливое слово старый шкипер.—Штурману у себя можно, капитану нельзя!—Помолчал и добавил философски:—Лучше с другого парохода матроску какую приласкать...

—И раньше нарушали,—не согласился Семенчук,—дело такое... Вон в Маклаково был случай, мужик бабу-солдатку потягивал из соседнего барака... ага... ну, один раз «уехал» в командировку! День у нее живет, другой, на третий день пошел мусор выносить в халате и в тапочках, и машинально, ноги сами принесли, пришел домой. Заходит в чужом халате, чужих тапочках и с чужим мусорным ведром из командировки! Жена на него и смотрит...

Все улыбались, случай был известный.

—У нас в Подтесово тоже этой зимой было,—поддержал Сазонов.—Стармех с «Бурного» пошел во двор за дровами, да с ребятами и загудели как следует. Вернулся домой через восемнадцать дней... но с дровами! Баба его и не тронула—помнил за чем ходил!

Выпили и вторую бутылку. В приподнятом настроении отправились на баржу к шкиперу, на пельмени. Проходя мимо локомотива, механик Сазонов заинтересованно притормозил. Двое заключенных—один потолще и повыше, другой маленький, рябой и с сердитым взглядом—только что запустили механизм, стояли с грязными руками и лицами, слушали, как работает. Локомотив время от времени начинало трясти—высокий быстро наклонялся к крутящейся технике, сбавлял обороты и вопросительно смотрел на сердитого.

Главный механик «Ворошилова» не выдержал:

—Хрена ли смотрите, у вас станина на двух болтах держится!—он присел и нетрезво посунулся показать, но не удержался и всем телом и рукой поехал внутрь работающего механизма.

Мужики схватили, вытянули обратно, но рукав тужурки был уже разорван, белая рубашка сделалась красной, с руки обильно лилась кровь.

— Ай-й-й! — оскалившись от боли, пьяно хрипел механик. — Вентилятором рубануло!

Вход в медпункт и штабной барак был один. Перед ним на лавочке курил часовой с карабином, поднялся при виде флотских офицеров. Белов решительно распахнул дверь, потом дверь налево с надписью «Санчасть». Как ледокол шел, расчищая дорогу товарищам.

Внутри на топчане громко и тяжело дышала толстая старуха, рядом на коленях стояла чернявая зэчка-врач и заголяла старухе рукав, Горчаков вынимал пинцетом прокипевший шприц, глянул мельком на шумно вошедшего Белова и окровавленную руку механика. В комнате было тесно, у порога валялись ботинки и фуфайки женщин.

Белов шагнул через фуфайки. Флотские, хоть и протрезвели от случившегося, не очень твердо держались на ногах.

— Доктор... — взял на себя командование Белов, но, увидев арестантскую спецовку Горчакова, нахмурился. — Ты доктор?

— Фельдшер, — Горчаков, еще раз оценив руку механика, отвернулся и стал набирать шприц.

— Ты что, не слышишь меня?! — вскипел Белов в спину зэка. — Слышу, — Горчаков сбрызнув воздух, нагнулся к старухе.

— Я с тобой говорю! — Белов схватил Горчакова за плечо.

Горчаков распрямился, левой рукой оберегая шприц, повернулся к Белову:

— Я должен сделать укол!

Белов, сдерживая ярость, молча отступил, повернулся к механику:

— Сейчас, Петя, сейчас.

Сазонов стоял, вяло опустив белую голову в пол, только вздохнул тяжело и пьяно. Щеки темнели кровью на светлом лице.

Горчаков сделал укол в вену, зэчка подложила свой платок под голову старухи и тихо выскользнула из медпункта, прихватив свою одежду. Горчаков запахнул старуху занавеской, поставил на стол кювету с хирургическими инструментами:

— Давайте сюда!

Механика усадили, он ронял голову, как будто пытался прилечь, Горчаков размотал носовые платки и с пинцетом в руке стал внимательно рассматривать. Ничего важного задето не было, но выглядело изрядно — кожа в лохмотья изорвана на ладони и запястье. Чудом не порванные вены пульсировали кровью.

Горчаков взял пинцетом кусок задранный кожи, расправил и пристроил на место, другой кусок отстриг ножницами. Сам внимательно

глядел на механика. Тот только морщился, кряхтел негромко и отворачивался. От него на всю комнату несло спиртом.

— Ничего страшного, — Горчаков поднял взгляд на двух флотских, стоявших над ними. — Зашью. А вы выйдите, пожалуйста, тут и так дышать нечем. — Он открыл стерилизатор, выбирая инструменты.

— Мне спирту! — потребовал вдруг раненый механик у Горчакова, — меня на фронте под спирт зашивали. Два раза... — он попытался задрать китель на боку, показать.

— Вам уже хватит, — Горчаков, морщась от запаха, рукой повернул голову механика в сторону, — туда смотрите. И потерпите.

Флотские вышли, закурили. Из медпункта временами раздавались негромкие матерные подвывания и ободряющее бормотание фельдшера. Белов сходил на буксир за бутылкой спирта. С полчаса длилось это дело, потом дверь отворилась. Фельдшер полотенцем вытирал руки и лоб:

— Забирайте, завтра на перевязку...

Рука по локоть и два пальца механика были аккуратно забинтованы. Сам он сидел протрезвевший, лицо сероватое, волосы прилипли ко лбу от высыхающего пота. В дверь заглядывал Белов. Горчаков щупал пульс старухи. Той стало легче после укола, она лежала с открытыми глазами.

— Сан Саньч, налей мужику! — хрипло потребовал отремонтированный механик.

Белов вошел, присел на топчан, открыл бутылку, булькнул в желтокоричневый от чая стакан, что стоял на столе, посмотрел, куда еще...

— Сюда можно? — спросил, показывая на чистые мензурки.

— Тут бы не надо... — Горчаков встал над старухой.

— Давай, выпей, братишка! — механик хотел сказать что-то еще, но не найдя слов, приподнял забинтованную руку и хмуро и благодарно кивнул фельдшеру белобрысой головой.

Белов налил в две мензурки, оставив стакан Горчакову, тот присел на свое место, улыбнулся, глядя на механика:

— Молодец, терпел...

— Он фронтовик, дядя! Заслуженный! Давай! За Родину! За Сталина! — Белов пьяно гордился товарищем, он грозно поднял свою посуду и орлом встал во весь рост.

Механик тоже поднимался с плещущей мензуркой в левой руке. Они чокнулись и выпили. Горчаков не тронул стакан, собирал окровавленные инструменты в стерилизатор. Белов поставил пустую тонкую посудинку и, сморщившись от спирта, недобро изучал Горчакова.

— Ты чего? — спросил фельдшера, хотя все про него уже понял.

Горчаков молча лил в стерилизатор воду из чайника. Только головой качнул.

— За Сталина пить не хочешь?! — набычился Белов, сжимая пьяные кулаки. — А-а?!

— Ты чего, Сан Саныч? — не понял забинтованный Сазонов.

— В карцер меня определят за этот стакан... да и вам, граждане начальники, не положено с ээками... Выпьем еще, бог даст...

— Какой такой бог?! — Белов заводил сам себя и лез лицом к ээку. — Я что, не видел?! Руку уже потянул выпить, а как я за Сталина сказал, скосорылился... Что, сука, не так?!

Горчаков снял очки и молча и почти безразлично смотрел на пьяного капитана.

— Да если бы не Сталин, ты бы сейчас, сука, фашистам сапоги лизал! Ты как, подлец...

— Ладно, Сан Саныч, чего кипишь, не тронь его. — Механик закрыл собой фельдшера, стал надвигаться перевязанной рукой на Белова. — Давай, пошли.

— Чего пошли?! Отсиделись суки по зонам, на казенных харчах! — Белова корежило от гнева, лицо красное, волосы растрепались. — Я сопливым пацаном всю войну за них ишачил!

Сазонов вытолкал его из медпункта. Стали спускаться к берегу.

— Чего уж ты так? — механик брезгливо морщился то ли от боли, то ли от выходки Белова. — Он смотри что... — показал руку.

— Пусть знает свое место, фашист! Они все Сталина ненавидят! Ты видел?!

— Не фашист он, я его на Пясине встречал... — заговорил старый шкипер Подласов. — До войны еще... Он начальником геологической партии был.

— Этот фельдшер? — не понял механик.

— Ну, они какое-то большое месторождение тогда открыли! Хотя и ээки, а им спирту два ящика привезли на гидросамолете! Начальство прилетело, в воздух палили!

— Это все не важно. Надо их на место ставить! — у Белова от злого возбуждения стучало в висках. — Они никогда не исправятся! Ты видел?! Кто он, сука, такой против Сталина?!

— Ладно, Сан Саныч, чего ты разорался... Кто же против-то?

Белов пьяно отвернулся на Енисей. Мужики молчали.

— Ну что, пойдём, что ли? — шкипер кивнул на свою баржу.

Настроение пропало. Попрощались и разошлись по своим судам.

Белов шел на «Полярный» и пьяно скрипел зубами, что не дал в морду фельдшера. Он даже останавливался и смотрел вверх,

представлял, как возвращается и открывает дверь медпункта. Сталин был ему дорог, как отец, которого Белов не помнил, и даже больше отца. Портрет вождя с девочкой на руках не просто так висел у него в каюте. Сам повесил.

5

Отоспавшись после ночной вахты и утренней выпивки, Белов стоял под горячим душем. Хмурился, кряхтел на себя за стычку с эком. Все видели, как он полез за Сталина... Все было смертельно позорно! И фельдшер... чем больше Белов о нем думал, тем сквернее себя чувствовал. Этот ээк, не сказав ни слова, поставил его на место... Так глупо... так погано все получилось.

Он побрился и пошел к себе в каюту.

Было около пяти вечера, когда капитан Белов сошел на берег. Разгрузка продолжалась, но без прежнего задора, теперь работали только ээки. Локомотив, в который попал механик, так и не заработал, и мужики в серых телогрейках таскали мешки с цементом на плечах.

Обходя грязь, Белов пробирался через наспех сваленные материалы. У больших бочек, составленных друг на друга, наткнулся на подростков. Они подсматривали за кем-то и были так увлечены, что он подошел вплотную, от бочек крепко воняло тухлой селедкой. Впереди два лагерных мужика разложили бабу. Оба были без порток, худые и белозадые, белые женские коленки торчали в небо.

— Ну-ка! — негромко шикнул капитан «Полярного».

Двое пацанов, столкнувшись, молча метнулись вбок, третий от неожиданности потерял с ноги безразмерный сапог и сел прямо в грязь. Вжавшись спиной в бочку, заревел в голос:

— Дядя, я не смотрел! Не бе-ей!

— Бегом отсюда!

Мальчишка, схватив сапог, кинулся за друзьями. Ээки уже трещали кустами в разные стороны. Молодая деваха сидела на ящике и застегивала армейскую телогрейку. Светлые волосы растрепаны, она встряхнула головой, оправляя их. Белов покраснел и, нервно отвернувшись, двинулся за убежавшими мальчишками. Обойдя бочки, лицом к лицу столкнулся с девицей, она тоже шла наверх. Это была белобрысая, лет шестнадцати-семнадцати, крепкая, обабившаяся уже девчонка. Увидев Белова, глянула недовольно и развернулась назад к баржам. Белов, ощущавший дурное возбуждение во всем теле, поосторонился и торопливо, не разбирая дороги, пошел наверх.

Девчонка очень была похожа на немку. Неужели и они? — мелькнуло в голове. Сама, никто не насиловал... В том, что он увидел, не было чего-то необычного, в этих местах такое случалось сплошь и рядом, его удивило, что девчонка была немкой. Ссылные немцы и прибалты были культурнее других, и Белову не хотелось, чтобы и они опустились до грязных эзков.

Управление размещалось в половине длинного барака. Белов вошел, дверь в первую же комнату направо была приоткрыта, негромко звучал радиоприемник.

— Здравия желаю!

— Заходите, пожалуйста! — невысокий молодой человек поднимался из-за стола. — Я Мишарин. Николай. Руководитель отдела проектирования жилых зданий.

— Капитан парохода «Полярный». Белов. Здесь отдел кадров?

— Это к капитану Клигману, он сейчас будет... — Мишарин внимательно рассматривал Белова.

Пожали руки. Белов стоял, раздумывая, что делать.

— Скажите, вы коренной сибиряк? — неожиданно спросил молодой человек.

— Коренной, — ответил Сан Саныч, собираясь уже выйти из комнаты.

— Вы видели последний фильм Герасимова? — Мишарин все смотрел на него с интересом.

— Я? — нахмурился Белов, ему было не очень понятно, почему его так рассматривают.

— Там у него одни сибиряки играют. Сибиряки — это особая порода человека, я уверен! Думаю, галерею портретов создать. Молодых, старых, разных профессий, но обязательно коренных сибиряков. Могу я вас нарисовать?

— Мне некогда... у меня пароход, команда. — Белов слегка конфузился, но ему уже нравился этот открытый парень. Еще и рисовать умеет. Сан Саныч всегда уважал людей, умеющих что-то особенное. Рисовать или играть на пианино.

— Жалко... я уже полгода в Сибири, а только три портрета сделал... — Мишарин вытащил из папки ватманские листы с рисунками. — Здесь со всей страны люди... а я настоящих хочу! Сажень косяя, знаете?! Взгляд открытый!

Люди на рисунках были как живые. Белов улыбнулся:

— У меня старпом такой вот! Захаров фамилия... Подойдет?

Дверь в барак заскрипела, кто-то разговаривал с часовым, потом отворилась дверь в комнату и вошел капитан Клигман.

—Здравия желаю! — козырнул Белов. — Капитан парохода «Полярный», в аренде у Строительства-503.

—Здравствуйте, — кивнул Яков Семеныч, устало присаживаясь снять сапоги. — Хорошо, что зашли, капитан, надо анкеты заполнить на всю команду. Вон, пачка на окне.

— На всю команду?! — насутился недовольно Белов. — В отделе кадров все есть!

—То у вас, а это у нас. Не будьте ребенком, режимная стройка...

В комнату осторожно заглянул невысокий мужик, председатель местной рыбартели:

—Яков Семеныч, что же это, началось, что ли? — спросил, хмуро снимая ушанку.

—Что такое, Меньшов? Заходите!

—Пока мои на воскреснике работали, ваши три избы обчистили! Бабы воют, поугащили харчи, по чугункам лазили! Распорядитесь хоть тушенку выдать, что грозились... За воскресник-то?

Мужик говорил глухо, по его виду не понять было, правда их обворовали или уж по привычке жалуется, смотрел то на Клигмана, то на Белова. Так и замолчал, глядя между ними и держа шапку двумя руками. На сапогах ошметки грязи, штаны драные. Белов рассматривал его, соображая, коренной ли он сибиряк. Клигман молча выслушал и стал надевать сапоги.

—Извините меня, я на склад... пишите пока, — Яков Семеныч вышел на улицу вслед за мужиком.

Сан Саныч сел заполнять анкету.

Родился в селе Знаменское Минусинского района Красноярского края 21 апреля 1928 года.

Национальность — русский.

Социальное происхождение — крестьянское.

Основное занятие родителей до Октябрьской революции — про черк.

После... — Белов задумался.

—У нас в анкете такого не было... у меня мать из крестьянской семьи, а отец фотографом работал в райцентре? Что писать?

—Не знаю... в селе же отец работал? — Мишарин заглянул в анкету.

—Ну.

—Пиши крестьянское.

Комсомолец, стаж, — Белов уверенно заполнял графы.

Состоял ли в других партиях? — Не состоял.

Состоял ли ранее в ВКП(б) и причины исключения? — Не состоял.

Были ли колебания в проведении линии партии и участвовал ли в оппозициях (каких, когда)? — Колебаний не было, в оппозициях не участвовал.

Образование — Красноярский речной техникум. Поступил в 1942, закончил в 1946.

Специальность — капитан-судоводитель.

Иностранные языки — не владею.

Трудовая деятельность...

Белов прочитал и поднял недовольные глаза на Мишарина:

— Опять всю деятельность писать?!

Мишарин, стаж которого уместился на одной строке, вежливо улыбнулся.

— Я с сорок второго... матросом, боцманом, да на разных судах... — Белов хмуро тер лоб. — Девками командовал!

— Почему девками?

— В войну одни девки в матросах были... девки да пацаны мелкие.

Мишарин явно заинтересовался девками-матросами, достал пачку «Беломора» и стал аккуратно распечатывать:

— И что... прямо вот... молодые девушки работали?

— Работали. И вахты стояли, и уголь грузили... — Белов снова склонился к анкете. — Государственные награды...

Дописывал молча. Мишарин тоже затих и о чем-то думал, неподкупную папиросу вертел в руках. Табак из нее сыпался. Когда Белов закончил, Николай выдвинул из-под кровати чемодан:

— Выпьем за знакомство?! — он достал бутылку коньяку. — Только закуски совсем нет.

Мишарину, как и Сан Санычу, шел двадцать второй год, но он видел, что рядом с капитаном Беловым сильно проигрывает. Сан Саныч это чувствовал, ему было приятно стеснительное уважение нового товарища:

— Пойдем ко мне на буксир, у меня повариха хорошая.

По дороге зашли в столовую, взяли буханку ржаного хлеба и двух девиц, они как раз заканчивали работу.

Каюта Белова была небольшая, уютная, выкрашенная светло-голубой краской. Справа от входа на узкой койке, заправленной серым шерстяным одеялом, сидели девушки. Между ними — Сан Саныч. На столе нарезанный хлеб, коньяк, рыбные консервы, пирожки с картошкой, оставшиеся с обеда, и четырехлитровая банка гущенки. Напротив в небольшом кресле устроился старпом Захаров

и на табуретке, спиной к двери — архитектор Мишарин. Черненькую звали Нина, светленькую Светлана, Белов шутил то с одной, то с другой и никак не мог решить, какая ему больше нравится.

Девушки почти не пили, мочили губы в рюмках и ставили на стол. Коля Мишарин быстро опьянел, отчего сделался счастлив и неудержимо активен. Он чувствовал, что наконец встретил здесь друзей, и ему ясно было, что рядом с ними он пройдет суровую школу жизни и станет таким же уважаемым человеком. Настоящим сибиряком вернется в Москву. Он уже поднимал тост за капитана Белова и за могучего молчаливого старпома Захарова, в которого он просто влюбился. И еще перецеловал девушкам ручки, чем их здорово смутил, и порывался сбежать за бумагой и начать рисовать Захарова немедленно.

— Дайте и мне папиросу, Сергей Фролыч, — попросил Мишарин старпома почти торжественно, — я свои забыл дома! У меня есть отличные папиросы, я завтра принесу!

Старпом подал. Николай достал папиросу, смял зубами и оглядел всех, будто спрашивая: ну как? Потом улыбнулся и положил папиросу на стол:

— Честно? Сергей Фролыч? Все не могу научиться курить! Голова очень кружится! А хочу! Хочу, знаете, домой приехать... оп-ля! Уже курю! И никто мне ничего! И еще у нас покойный профессор Смирнов, когда лекции читал, всегда курил! Вы слышали о профессоре Смирнове? Конструктивист! Они с Мельниковым работали! Какие он здания построил! Я у него учился — красный диплом защитил! У меня после института свободный выбор был! В Москве оставляли — инструктором в ЦК комсомола: у меня куча грамот, я доклады по международному положению делал.

Николай говорил быстро, за его мыслями непросто было уследить, но все, особенно девушки, слушали внимательно. Это была далекая московская жизнь.

— Не верите?! Я с лекциями ездил! У меня память страшная! Нет, правда!

Белов под шумок положил руку на талию Светланы. Девушка замерла, но руку не сбросила, продолжала внимательно слушать выпившего архитектора. После мишаринского коньяка пошел спирт. Старпом вертел в руках пустую бутылку:

— Говорят, Черчилль очень наш армянский коньяк уважает.

— Хрен вот ему теперь! — махнул уверенной пьяной рукой Мишарин. Очки съехали набок, он решительно их поправил.

— Чего тебе, жалко? — не понял старпом.

— А речь в Фултоне? Забыли? Военный блок против СССР! А?!